

# Новоселье

В октябре я ходил за виноградом на приречные луга и набирал гроздья, отличавшиеся более красотой и ароматом, чем вкусовыми качествами. Я любовался также — хотя и не собирал ее — ягодами клюквы, маленькими восковыми драгоценностями, жемчужно-румяными сережками, оброненными в траву, которые фермер сгребает уродливыми граблями, взъерошивая весь луг, грубо меряет на бушели и доллары и продает эту награбленную в лугах добычу Бостону и Нью-Йорку — на варенье, предназначенное для тамошних любителей природы. Безжалостный мясник так же выдирает языки бизонов из травы прерий, растерзав все растение. Красивейшими ягодами барбариса я тоже насыщал только свой взор; зато я набрал некоторый запас диких яблок, которыми пренебрег хозяин и прохожие, — они годятся в печеном виде. Когда поспели каштаны, я запас их полбушеля на зиму. В это время года отлично было бродить по тогдашним огромным каштановым роцам Линкольна — сейчас они уснули вечным сном под рельсами[236] железной дороги — бродить с мешком за плечами и палкой в руке, чтобы разбивать каштаны, потому что я не всегда дожидался заморозков; бродить под шорох листвы и громкий ропот рыжих белок и соек, у которых я иногда похищал полусъеденные каштаны, зная, что они отбирают только лучшие. Иной раз я влезал на дерево и тряс его. Каштаны росли и у меня за домом; одно большое дерево, над самым домом, в пору цветения благоухало на всю округу, но плоды почти все доставались белкам и сойкам: последние слетались по утрам целыми стаями и выклевывали плоды из колючей оболочки, прежде чем они падали. Я отдал это дерево в их распоряжение и стал ходить в более дальние рощи, состоявшие из одних каштанов. Они неплохо заменяли хлеб. Вероятно, хлебу можно найти еще много заменителей. Однажды, копая червей для наживки, я обнаружил земляной орех (*Apios tuberosa*), заменявший туземцам картофель, — плод почти мифический, так что я стал сомневаться, приходилось ли мне в детстве выкапывать и есть его, и не приснился ли он мне во сне. Я нередко видел, но не узнавал его гофрированный бархатистый красный цветок, опирающийся на стебли других растений. С тех пор как земля стала возделываться, он почти вывелся. У него сладковатый вкус, как у подмороженного картофеля, и я нахожу его вкуснее в вареном виде, чем в жареном. В его клубнях я увидел смутное обещание того, что Природа когда-нибудь прокормит здесь своих детей подобной простой пищей. В наши дни откормленного скота и колосящихся полей этот скромный корнеплод, некогда «тотем» индейского племени, совсем позабыт или известен только как цветок. Но стоит Природе снова здесь воцариться, и роскошные прихотливые английские злаки, оставшись без присмотра человека, вероятно, будут вытеснены множеством соперников, и ворон отнесет последнее зерно кукурузы на великое поле индейского бога на юго-западе, откуда он, говорят, некогда принес его; а почти исчезнувший земляной орех, не боящийся заморозков и сорняков, возродится и войдет в силу, докажет, что он здесь — свой, и вернет себе славу главного кормильца охотничьего племени. Должно быть, его создала и даровала людям какая-нибудь индейская Церера или Минерва, а когда здесь наступит век поэзии, его листья и гроздья клубней будут изображаться нашим искусством.

Уже к 1 сентября я заметил на дальнем берегу пруда, на мысу, у самой воды, там, где расходятся из одного корня белые стволы трех осин, два-три совершенно красных молодых клена. О, эти краски! Как много дум они наводят[237]. С каждой неделей деревья постепенно проявляли свой характер и любовались на себя в гладком зеркале пруда. Каждое утро хранитель этой галереи заменял одну из старых картин какой-нибудь новой, более яркой и гармонической по колориту.

В октябре к моей хижине тысячами слетались осы, как на зимнюю квартиру, и садились с внутренней стороны на окна или на стены, иной раз отпугивая моих гостей. По утрам, когда они от холода цепенели, я выметал часть их наружу, но не очень старался от них избавиться; мне даже льстило, что они считали мой дом столь завидным приютом. Они не причиняли мне особых неудобств, хотя и спали со мной; а потом они постепенно скрылись, не знаю уж в какие щели, спасаясь от зимы и настоящих холодов.

Я тоже, подобно осам, прежде чем окончательно уйти на зимовку в ноябре, облюбывал северо-восточный берег Уолдена, где солнце, отражаясь от соснового леса и каменистого берега, грело, как камин; а ведь гораздо приятнее и здоровее греться, пока возможно, под солнцем, чем у искусственного огня. И я грелся у еще тлеющего костра, который лето оставило после себя, как ушедший охотник.

Когда я начал класть печь, я изучил искусство кладки. Кирпичи мои были не новые, и требовалось очищать их лопаткой, так что я немало узнал о качествах и кирпича, и лопаток. Известковый раствор на них был 50-летней давности, и говорят, что он еще продолжал твердеть, но это одно из тех мнений, которые люди любят повторять, не заботясь об их достоверности. Сами эти мнения с годами твердеют и держатся все крепче, так что надо немало колотить лопаткой, чтобы очистить от них какого-нибудь старого умника. В Месопотамии многие деревни выстроены из отличного старого кирпича, добытого, на развалинах Вавилона, а ведь на них раствор еще старше и, вероятно, крепче. Как бы то ни было, меня поразила крепость стали, которая выдерживала столько сильнейших ударов. Из моих кирпичей и раньше была сложена печь, хотя я и не прочел на них имени Навуходоносора;[238] поэтому я старался выбрать побольше именно уже послуживших кирпичей, чтобы сэкономить труд; промежутки я закладывал камнями с берега пруда, а раствор замешал на белом песке, взятом оттуда же. Больше всего времени я потратил на очаг, ибо это — сердце дома. Я работал так неспешно, что, начав с утра, к вечеру выложил лишь несколько дюймов в высоту; это возвышение послужило мне подушкой, но не помню, чтобы от нее у меня заболела шея. Шея у меня действительно не любит гнуться, но это свойственно мне уже давно. В то время я на две недели приютил у себя поэта,[239] и надо было подумать, где его поместить. Он взял с собой нож, хотя и у меня их было два, и мы чистили их, втыкая в землю. Он делил со мной тяготы стряпни. Приятно было видеть, как постепенно росла моя прочная печь — пускай медленно, зато надолго. Печь — это своего рода независимое сооружение, стоящее на земле и подымающееся над домом к небесам. Она остается иногда и после того, как дом сгорел, и тогда ее важность и независимость становятся очевидны. Я начал сооружать ее в конце лета. А сейчас был ноябрь.

Северный ветер уже начал студить воду, хотя для этого ему пришлось упорно дуть несколько недель — так глубок наш пруд. Когда я стал по вечерам топить печь, тяга была

особенно хороша, благодаря многочисленным щелям между досками. И все же я провел немало приятных вечеров в этом прохладном помещении, где стены были из неструганных сучковатых досок, потолок — из не очищенных от коры балок. Мой дом нравился мне гораздо меньше после того, как я его оштукатурил, хотя, надо признаться, он стал удобнее. Разве не следует всем жилым помещениям быть достаточно высокими, чтобы под кровлей сгущался сумрак, и по балкам вечерами могли играть и перебегать тени? Они больше говорят воображению, чем фрески или самая дорогая обстановка. Свой дом я начал по-настоящему обживать лишь, когда стал искать в нем не только крова, но и тепла. У меня была пара старых таганов, чтобы класть дрова, и очень приятно было смотреть, как на очаге, сложенном моими руками, собиралась копоть, и я помешивал в огне с бóльшим правом и удовлетворением, чем обычно. Дом мой был мал, и я не мог пригласить туда эхо, но он казался больше оттого, что состоял всего из одной комнаты и стоял уединенно. Все было тут вместе: кухня, спальня, гостиная и столовая; все приятное, что имеют от дома родители и дети, хозяева и слуги, получал я сам. Катон говорит, что глава семьи (*pater familias*) должен иметь в своем сельском доме «*cellam oleariam, vinariam, dolia multa, uti lubeat caritatem expectare, et rei, et virtuti, et gloriae erit*», т. е. «погреб для масел и вин, притом побольше бочек, чтобы быть спокойным, если наступят трудные времена; и это послужит ему к выгоде и чести и славе»[240]. У меня в погребе была мерка картофеля, около двух кварт гороха, зараженного долгоносиком, а на полке — немного риса, кувшин патоки и по четверти бушеля ржаной и кукурузной муки.

Мне иногда рисуется в мечтах более просторный и людный дом, дом Золотого века, выстроенный прочно, без пряничных украшений, который состоял бы всего из одной комнаты — большой, поместительной залы без потолка и штукатурки, чтобы балки и обрешетины держали над ней как бы нижнее небо — защиту от дождя и снега; где, войдя, вы кланяетесь почтенной стропильной бабке, а переступая порог, — поверженному Сатурну[241] прежней династии; дом высокий, как пещера, где надо поднять факел на шесте, чтобы разглядеть кровлю; где можно поселиться в камине, в углублениях окон или на лавках вдоль стен, одним — в одном конце обширного покоя, другим — в другом, а если вздумается, то и на балках, вместе с пауками; дом, куда попадаешь сразу же, как откроешь входную дверь, без всяких церемоний; где усталый путник может помыться, поесть, побеседовать и уснуть, все в одном месте; убежище, которому радуешься в ненастную ночь; дом, где есть все необходимое для дома и ничего для домашнего хозяйства; где можно сразу обозреть все богатства и все нужное висит на гвоздиках; где у вас и кухня, и кладовая, и гостиная, и спальня, и склад, и чердак, где найдется такая нужная вещь, как бочонок или лестница, и такое удобство, как стенной буфет; где можно слышать, как кипит горшок и приветствовать огонь, на котором варится ваш обед, и печь, где выпекается ваш хлеб; где главным украшением служит необходимейшая утварь; где никогда не угасает ни огонь, ни веселость хозяйки; где вас могут попросить подвинуться, чтобы кухарка могла слазить в погреб через люк, и поэтому не надо топтать ногой, чтобы определить, что под вами — земля или пустота. Дом, весь видный внутри, как птичье гнездо, где нельзя войти с переднего крыльца и выйти с заднего, не встретившись с кем-нибудь из обитателей; где гостю предоставляется весь дом, а не одиночная камера в какую-нибудь одну восьмую его площади, в которой его просят быть «как дома», — в одиночном заключении. В наше время хозяин не допускает вас к своему очагу; он заказывает печнику особый очаг для вас, где-нибудь в проходе, и гостеприимство состоит в том, чтобы держать вас *на расстоянии*. Кухня

облечена такой тайной, словно он намерен вас отравить. Я знаю, что побывал во многих частных владениях, откуда меня могли законно попросить о выходе, но что-то не помню, чтобы бывал во многих *домах*. Я мог бы, если бы мне было по пути, навестить в своей старой одежде короля с королевой, если бы они жили простой жизнью в таком доме, как я описал; но если я когда-нибудь попаду в современный дворец, мне захочется только одного: пятаться задом,[242] поскорее оттуда выбраться.

В наших гостиных самый язык теряет свою силу и вырождается в бессмысленную болтовню — так далека наша жизнь от его основ и так холодны метафоры и тропы, успевающие остыть, пока доставляются на подъемниках: иными словами, гостиная бесконечно далека от кухни и мастерской. Да и обед обычно бывает лишь иносказанием. Выходит, что только дикарь живет достаточно близко к Природе и Истине, чтобы заимствовать у них тропы. А может ли ученый, живущий где-нибудь на северо-западной территории или на острове Мэн, определить, что принадлежит кухне, а что гостиной?

Впрочем, лишь один-два из моих гостей отважились когда-либо остаться отведать моего пудинга на скорую руку; видя приближение этого события, они предпочитали скорый уход, словно оно грозило потрясти дом до основания. Однако он выдержал немало таких пудингов.

Я не штукатурил стен, пока не начались морозы. Для этого я доставил с другого берега самый белый и чистый песок; я привез его в лодке — а в ней я готов плыть и гораздо дальше, если бы понадобилось. Предварительно я со всех сторон покрыл дом дранкой. Прибивая ее, я с удовольствием убедился, что умею всадить гвоздь одним ударом молотка; накладывать штукатурку мне тоже хотелось быстро и аккуратно. Я вспомнил одного самонадеянного малого, который любил разгуливать по поселку в праздничной одежде и давать рабочим советы. Решившись однажды перейти от слов к делу, он засучил рукава, взял «соколок», набрал на лопатку раствора, самодовольно взглянул вверх на стену и смело занес руку, но тут же, к полному своему замешательству, вывалил все содержимое лопатки на свою нарядную рубашку. Я вновь убедился в удобстве и экономичности штукатурки, которая так хорошо защищает от холода и придает дому такую красивую законченность, и узнал на опыте все зловключения, каким подвержен штукатур. Я с удивлением увидел, как жадно кирпичи выпивают всю влагу из раствора прежде, чем успеешь его разровнять, и сколько надо ведер воды, чтобы окрестить новый очаг. Предыдущей зимой я приготовил в виде опыта немного извести, сжигая ракушки *Unio fluviatilis*, которые водятся в нашей реке, так что я знал, откуда беру свои строительные материалы. Я мог бы, если бы захотел, достать хороший известняк милях в двух от дома и сам его обжечь.

Между тем уже за несколько дней или даже недель до настоящих морозов самые мелкие и тенистые бухты пруда подернулись льдом. Первый лед особенно интересен и хорош — он твердый, темный и прозрачный и лучше всего позволяет разглядеть дно в мелких местах; можно лечь на лед всего в дюйм толщиной, как лежит жук-водомерка на поверхности воды, и сколько угодно рассматривать дно, которое от тебя всего в двух-трех дюймах, точно картину под стеклом, потому, что вода под ним всегда неподвижна. В песке много бороздок, проделанных какой-нибудь тварью, которая там ползала, стараясь запутать свои следы; а вместо обломков крушений дно усыпано пустыми коконами веснянки, состоящими из мелких

зерен белого кварца. Может быть, они-то и начертили бороздки, потому что некоторые из коконов лежат как раз в этих бороздках, хотя они, казалось бы, не могли проделать таких широких и глубоких. Но интереснее всего сам лед, и изучать его надо именно в первые дни. Если рассматривать его внимательно в первое же утро, как он образуется, — окажется, что большинство пузырьков, которые сперва могут показаться вмерзшими в лед, на самом деле находится под ним, и со дна все время поднимаются новые; а лед пока еще темноватый и ровный, и сквозь него видна вода. Эти пузырьки имеют в диаметре от 1/80 до 1/8 дюйма; они очень светлы и красивы и отражают твое лицо сквозь лед. Их бывает до 30–40 на квадратный дюйм. Кроме того, внутри льда видны удлиненные, перпендикулярно стоящие пузырьки — узенькие конусы, обращенные остриями вверх; но в свежем льду чаще встречаются крохотные круглые пузырьки, один над другим, точно нитки бус. Однако пузырьки, заключенные в самом льду, не так многочисленны и не так ясно видны, как те, что под ним. Я иногда бросал камни, испытывая прочность льда, и те камни, что пробивали лед, открывали доступ воздуху, который образовывал очень крупные белые пузыри. Однажды я вернулся на то же место через сорок восемь часов, и эти крупные пузыри полностью сохранились, хотя льдаросло еще на дюйм, что было ясно видно по рубцу, оставшемуся в его толще. Но последние два дня были очень теплыми, точно бабье лето, и лед утратил прозрачность, через которую виднелась темно-зеленая вода и дно; теперь он был непрозрачный и серовато-белый; он стал вдвое толще, но едва ли прочнее, потому что воздушные пузыри сильно расширились под действием тепла, слились и потеряли правильность очертаний; они уже не стояли один над другим, а ложились один на другой, словно серебряные монеты, высыпаемые из мешка, или лежали тонкими хлопьями, как бы заполняя мелкие трещины. Красота льда исчезла, и рассматривать дно было уже нельзя. Желая узнать, как расположились крупные пузыри по отношению к новому льду, я выломал кусок, в котором был пузырь средних размеров, и перевернул его. Новый лед образовался вокруг пузыря и под ним, так что он был заключен между двумя слоями льда. Он целиком лежал в нижнем слое, но был прижат к верхнему и слегка сплюснут, т. е. приобрел как бы форму линзы с округленными краями, толщиной в четверть дюйма, а диаметром в четыре; и я с удивлением увидел, что под самым пузырем лед симметрично подтаял в форме опрокинутого блюдца, которое в середине достигало примерно 5/8 дюйма; между водой и пузырем оставался тонкий слой, в какую-нибудь восьмую дюйма, но во многих местах мелкие пузырьки в этом слое прорвались вниз, так что под самыми крупными пузырями, диаметром в фут, вероятно, совсем не было льда. Я сделал отсюда вывод, что бесчисленные маленькие пузырьки, которые я вначале наблюдал под поверхностью льда, теперь также вмерзли в него и что каждый из этих пузырьков сыграл роль зажигательного стекла, помогая растопить лед изнутри. Это те крохотные духовые ружья, благодаря которым лед издает треск и кряхтенье.

Наконец, как раз когда я кончил штукатурить, настала настоящая зима, и ветер принялся завывать вокруг дома, точно раньше не имел на это дозволения. Каждую ночь, в темноте, когда земля уже покрылась снегом, тяжело прилетали гуси, трубя и свистя крыльями; одни садились на пруд, другие низко пролетали над лесом к Фейр-Хэвену, на пути в Мексику. Несколько раз, возвращаясь из поселка часов в 10–11 вечера, я слышал, как стая гусей или уток ходит по сухим листьям в лесу за домом, у лужи, куда они приходили кормиться, и как вожак поспешно уводит их с негромким кряканьем. В 1845 г. Уолден впервые замерз целиком в ночь на 22 декабря, а Флинтов пруд и другие, более мелкие пруды и река — дней

на десять раньше; в 1846 г. он замерз 16-го; в 1849 — примерно 31-го, в 1850 — около 27 декабря; в 1852 — 5 января; в 1853 — 31 декабря. Снег покрыл землю уже с 25 ноября, и меня сразу окружил зимний пейзаж. Я глубже заполз в свою скорлупу, стараясь поддерживать жаркий огонь и в доме, и в груди. Теперь у меня была другая работа на воздухе: собирать в лесу валежник и приносить его на спине в вязанках или волоком тащить сухие сосны под свой навес. Моей главной добычей была старая лесная изгородь, выдавшая лучшие дни. Я принес ее в жертву Вулкану, ибо она уже не могла больше служить Термину[243]. Насколько интереснее становится ужин, если ты только что нашел, вернее, украл в снегу топливо, чтобы его приготовить! Хлеб и мясо становятся от этого вкуснее. В большинстве пригородных лесов найдется достаточно валежника и сухостоя для множества очагов, но пока он никого не согревает и, как говорят некоторые, мешает росту молодого леса. На Уолдене был также сплавной лес. Летом я нашел на нем плот из неошкуренных сосновых бревен, сбитый ирландцами, когда они строили железную дорогу. Я наполовину вытащил его на берег. Пробыв два года в воде, а потом полгода на суше, он был совершенно цел, но настолько пропитался водой, что высушить его было нельзя. Однажды зимой я доставил себе развлечение: переправил его по частям через пруд, почти за полмили. Я либо скользил по льду, толкая перед собой пятнадцатифутовое бревно, один конец которого клал себе на плечо, либо связывал по несколько бревен березовым прутом и тащил их с помощью длинной березовой или ольховой хворостины с крюком на конце. Хотя они были пропитаны водой и тяжелы, как свинец, они горели и долго, и очень жарко; мне даже казалось, что они от этого горят лучше; что смола, окруженная водной оболочкой, горит дольше, как будто в светильне.

Гилпин,[244] рассказывая о жизни лесной пограничной полосы в Англии, пишет, что «самовольные порубки для постройки домов и оград на опушках леса» «считались по старым лесным законам тяжелыми проступками и сурово карались, ибо способствовали *ad terrorem ferarum — ad nocumentum forestae*», т. е. распугивали дичь и вредили лесу. Но я был заинтересован в сохранении дичи и леса больше охотников и лесорубов, точно был самым лордом-хранителем лесов; и если где-то случался пожар, хотя бы я сам его нечаянно вызывал, я горевал дольше и безутешнее, чем владельцы; горевал даже тогда, когда сами владельцы производили порубку. Хорошо бы нашим фермерам ощущать при рубке леса хоть часть того страха, какой испытывали древние римляне, когда им приходилось прорезживать священную рощу, чтобы впустить в нее свет (*Lucum conlucare*), и верить, подобно римлянам, что она посвящена какому-нибудь божеству. Чтобы его умиловить, римлянин приносил жертву и молился: кто бы ты ни был, о бог или богиня этой рощи, будь милостив ко мне, к моей семье и детям и т. д.

Удивительно, как ценится лес даже в наш век и в нашей новой стране — ценность его устойчивее цены золота. При всех наших открытиях и изобретениях, никто не проходит равнодушно мимо кучи дров. Лес так же дорог нам, как нашим саксонским и норманским предкам. Они делали из него луки, а мы делаем ружейные стволы. Более 30 лет назад Мишо[245] писал, что цена на дрова в Нью-Йорке и Филадельфии «почти такая же, а порой и выше, чем на лучшие дрова в Париже, хотя эта огромная столица ежегодно потребляет их более 300 тысяч кордов,[246] и на триста миль вокруг нее тянутся одни лишь возделанные поля». В нашем городе цена на дрова почти непрерывно растет и мы задаем лишь один вопрос: на сколько дороже они будут в этом году, чем в прошлом. Рабочие и ремесленники,

которые сами ходят в лес только за этим, непременно приходят и на дровяную распродажу и даже немало платят за право подбирать щепки за лесорубами. Вот уже много лет люди идут в лес за топливом и за материалом для поделок; жителю Новой Англии и Новой Голландии, парижанину и кельту, фермеру и Робин Гуду, бабушке Блейк и Гарри Гиллу,[247] в большинстве стран — принцу и крестьянину, ученому и дикарю одинаково требуется несколько лесных сучьев, чтобы обогреться и сварить пищу. Не мог обойтись без них и я.

Каждый человек с некоторой нежностью глядит на свою поленницу. Мне захотелось, чтобы моя была у меня под окном и чтобы как можно больше щепок напоминало мне о приятной работе. У меня был старый топор, на который никто не заявлял прав; этим топором я зимними днями у солнечной стены дома понемногу колол на дрова пни, выкорчеванные на моем бобовом поле. Как предсказал мальчик, помогавший мне пахать, они грели меня дважды — когда я рубил и когда жег в печи; какое еще топливо могло дать больше жара? Что касается топора, то мне посоветовали отдать его выправить деревенскому кузнецу, но я обошелся своими силами, приладил к нему ореховую рукоятку, и ничего — сошло. Пускай он был тупой, зато хорошо насажен.

Настоящим сокровищем были ископаемые корни смолистой сосны. Интересно вспомнить, сколько этой пищи для огня еще скрыто в земных недрах. В прежние годы я часто ходил для «изысканий» на холм, где некогда росли смолистые сосны, и выкапывал корни. Они почти не подвержены действию времени. Пни 30-40-летней давности сохраняют здоровую сердцевину, хотя заболонь сгнивает целиком, судя по толстой коре, образующей на уровне земли кольцо, на расстоянии четырех-пяти дюймов от сердцевины. Вскрываешь эти залежи топором и лопатой и добираешься до костного мозга, желтого, как говяжий жир; или можно подумать, что ты нашел глубоко в земле золотую жилу. Но чаще всего я растапливал свой очаг сухими лесными листьями, которые припас в сарае еще до снегопада. Когда лесоруб разводит в лесу костер, он разжигает его тонко расщепленными свежими сучьями ореха. Иногда я раздобывал и их. Когда на горизонте зажигались огни поселка, я тоже подымал над своей трубой дымовой вымпел, оповещая всех диких обитателей долины Уолдена о том, что я бодрствую:

О легкокрылый Дым! Взлетая ввысь, Ты, как Икара оперенье, таешь. Безгласный жаворонок, вестник дня, Как над гнездом, ты вьешься над селеньем; Иль, может быть, ты призрак полуночный, И прочь спешишь, влача свои одежды. Ты по ночам нам звезды застилаешь, Днем — заслоняешь ясный свет. А у меня курись, как фимиам, Моля богов простить мне жаркий пламень[248]

Лучше всего мне подходило твердое свежесрубленное зеленое дерево, хотя его я употреблял мало. Иногда зимним днем я оставлял огонь в очаге и шел прогуляться, а вернувшись часа через три-четыре, еще заставал его живым и бодрым. Пока меня не было, мой дом не пустовал. Я точно оставлял в нем веселую хозяйку. В доме жили Я и Огонь, и моя хозяйка оказывалась обычно надежной. Но однажды, когда я колол дрова, я вдруг решил заглянуть в окно и проверить, не горит ли дом; то был единственный раз, как мне помнится, когда я этим встревожился, — и оказалось, что искра попала на постель, и я потушил ее, когда она уже прожгла дыру величиной в ладонь. Но дом мой стоял на таком солнечном и защищенном от ветров месте, и кровля у него была так низка, что можно было гасить очаг почти в любой зимний день.

В погребе у меня поселились кроты; они погрызли каждую третью картофелину, а из волоса, оставшегося от штукатурных работ, и оберточной бумаги устроили себе уютное гнездо; ибо даже самые дикие животные не меньше человека любят удобства и тепло и переживают зиму только потому, что так заботливо готовятся к ней. Если послушать некоторых моих друзей, выходило, что я хотел поселиться в лесу нарочно, чтобы погибнуть от холода. Животное просто устраивает себе ложе в укрытом месте и согревает его собственным телом; но человек, открывший огонь, нагревает просторное помещение, превращая его в постель, где он может освободиться от тяжелой одежды, устроить себе нечто вроде лета среди зимы, впустить даже свет с помощью окон, а с помощью лампы удлинить день. Так он идет несколько дальше природного инстинкта и сберегает немного времени для искусств. Когда я долго находился на холодном ветру, все мое тело цепенело, а в тепле моего дома я отогревался и продлевал свою жизнь. Но даже обитателям самых роскошных домов в этом отношении больше нечем похвастаться; и нетрудно догадаться, отчего может в конце концов погибнуть человечество.

Нить его жизни можно в любой час оборвать чуть более сильным порывом северного ветра. Мы ведем наше летосчисление с Холодной Пятницы или Великого Снегопада,[249] но достаточно какой-нибудь пятницы похолоднее или снегопада побольше — и наше существование на земном шаре может, наоборот, кончиться.

В следующую зиму я ради экономии стал пользоваться для стряпни маленькой плитой — лес-то ведь был не мой; но она не так хорошо держала тепло, как открытый очаг. Стряпня стала уже не столько поэтическим, сколько химическим процессом. В наш век печей мы скоро позабудем, что некогда пекли картофель в золе, как индейцы. Плита не только заняла место и наполнила дом запахами — она скрыла огонь, и я почувствовал, что потерял друга. В огне всегда можно увидеть чье-то лицо. Глядя в него по вечерам, земледелец очищает мысли от скверны, от пошлости, накопившейся за день. А я не мог уже больше сидеть и смотреть в огонь, и мне вспоминались слова поэта:

*Веселый жар каминного огня,  
Как близость друга, нужен для меня.  
Он то с надеждой яркой разгорится,  
То, как она же, в пепел обратится.  
Так отчего ж ты изгнан из домов,  
Любимый спутник наших вечеров?  
Быть может, слишком ярко пламя было  
Для нашей жизни тусклой и унылой?  
Иль с душами таинственно общалось,  
И слишком жгучей тайна оказалась?*

*Теперь мы в безопасности сидим  
У очага, где скрыт огонь и дым.  
Он радости иль грусти не навеет.  
Он только руки нам и ноги греет.  
Столь новое устройство прозаично,  
Что Настоящему здесь дремлетя отлично.  
Без страха перед призраком Былого,*

*Являвшимся на свет огня живого[250].*

---

Версия #1

Зверобой создал 10 апреля 2025 22:14:47

Зверобой обновил 10 апреля 2025 22:15:41